

Александр Куприн

# Мелюзга



# Александр Иванович Куприн

## Мелюзга

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2477185](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2477185)

### Аннотация

«В полутораста верстах от ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссеиных и почтовых дорог, окруженная старинным сосновым Касимовским бором, затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях – Куршей-головастой и Литвой-некрещеной. Смысл последнего прозвища затерялся в веках, но остался его живой памятник в виде стоящей в центре деревни дряхлой католической часовенки, внутри которой за стеклами виднеется страшная раскрашенная деревянная статуя, изображающая Христа со связанными руками, с терновым венцом на голове и с окровавленным лицом. Жители Курши – коренные великороссы, крупного сложения, белокурые и лохматые. Говорят по-русски чисто, хотя нередко мешают „ч“ и „ц“: вместо винцо – произносят винчо, вместо человек – целовек...»

# Содержание

I	4
II	6
III	9
IV	18
V	28
VI	36
VII	39

# Александр Иванович Куприн Мелюзга

## I

В полутораста верстах от ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссеиных и почтовых дорог, окруженная старинным сосновым Касимовским бором, затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях – Куршей-головой и Литвой-некрещеной. Смысл последнего прозвища затерялся в веках, но остался его живой памятник в виде стоящей в центре деревни дряхлой католической часовенки, внутри которой за стеклами виднеется страшная раскрашенная деревянная статуя, изображающая Христа со связанными руками, с терновым венцом на голове и с окровавленным лицом. Жители Курши – коренные великороссы, крупного сложения, белокурые и лохматые. Говорят по-русски чисто, хотя нередко мешают «ч» и «ц»: вместо винцо – произносят винчо, вместо человек – целовек. При въезде в деревню стоит земская школа; при

выезде, у оврага, на дне которого течет речонка Пра, находится фельдшерский пункт. Фельдшер и учитель – единственные люди не здешнего происхождения. Обоих судьба порядочно помыкала по белу свету, прежде чем вела их в этом углу, забытом богом и начальством и отдаленном от остального мира: летом – непроходимыми болотами, зимою – непролазными снегами. Суровая жизнь по-разному отразилась на них. Учитель мягок, незлобив, наивен и доверчив, и все это с оттенком покорной, тихой печали. Фельдшер – циник и сквернослов. Он ни во что на свете не верит и всех людей считает большими подлецами. Он угрюм, груб, у него лающий голос.

Оба они из духовного звания, неудавшиеся попы. Фамилия учителя – Астреин, а фельдшера – Смирнов. Оба холостые. Учитель служит в Курше с осени; фельдшер же – второй год.

## II

Установилась долгая, снежная зима. Давно уже нет проезда по деревенской улице. Намело сугробы выше окон, и даже через дорогу приходится иногда переходить на лыжах, а снег все идет и идет не переставая. Курша до весны похоронена в снегу. Никто в нее не заглянет до тех пор, пока после весенней распутицы не обсохнут дороги. По ночам в деревню заходят волки и таскают собак.

Днем учитель и фельдшер занимаются каждый своим делом. Фельдшер принимает приходящих больных из Курши и из трех соседних деревень. Зимой мужик любит лечиться. С раннего утра, еще затемно, в сенях фельдшерского дома и на крыльце толпится народ. Болезни все больше старые, неизлечимые, запущенные, на которые летом во время горячей работы никто не обращает внимания: катарры, гнойники, трахома, воспаление ушей и глаз, кариоз зубной полости, привычные вывихи. Многие считают себя больными только от мнительности, от долгой зимней скуки, женщины – от истеричности, свойственной всем крестьянским бабам.

Смирнов знает в медицине решительно все и по всем отраслям. По крайней мере сам он в этом так

глубоко убежден, что к ученым врачам и к медицинским авторитетам относится даже не с презрением, а со снисходительной жалостью. Лечит он без колебаний и без угрызений совести, ставит диагноз мгновенно. Ему достаточно только, нахмуря брови, поглядеть на больного сверх своих синих очков, и он уже видит насквозь натуру его болезни. «По утрам блюешь? На соленое позывает? Как ходишь до ветру? Дай руку... раз, два, три, четыре, пять, шесть... Ладно. Раздевайся... Дыши... Сильней. Здесь больно, когда нажимаю? Здесь? Здесь? Одевайся. Вот тебе порошки. Примешь один сейчас, другой перед обедом, третий через час после обеда, четвертый перед ужином, пятый на ночь. Так же и завтра. Понял? Ступай». И все это занимает ровно три минуты.

Он с невероятной храбростью и быстротой рвет зубы, прижигает ляписом язвы, вскрывает тупым ланцетом ужасные крестьянские чирьи и нарывы, прививает оспу и прокалывает девчонкам ушные мочки для сережек. Он от всей души жалеет, что медицинское начальство не разрешает фельдшерам производить, например, трепанацию черепа, вскрытие брюшной полости или ампутацию ног. Уж наверно он сделал бы такую операцию почище любого петербургского или московского профессора! Асептику и антисептику он называет чущью и хреновиной. По его мне-

нию, бактерии даже боятся грязи. Главное дело в верности глаза и в ловкости рук. Крестьяне ему верят и только лишь в самых тяжких случаях, когда фельдшер велит везти недужного в больницу, обращаются к местным знахаркам.

В это время учитель занимается в тесной и темной школе. Он сидит в пальто, а ребятишки в тулупах, и у всех изо рта вылетают клубы пара. Оконные стекла изнутри сплошь покрыты толстым белым бархатным слоем снега. Снег бахромой висит на потолочных брусьях и блестит нежным инеем на округлости стенных бревен.

– «Мартышка в старости слаба глазами стала...» Ванюшечкин, что такое мартышка? Кто знает? Ты? Рассказывай. А вы, маленькие, списывайте вот это: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сыся».

Ноги даже в калошах зябнут и застывают. Крестьяне решительно отказались топить школу. Они и детей-то посылают учиться только для того, чтобы даром не пропадал гривенник, который земство взимает на нужды народного образования. Приходится топить остатками забора и брать займы охапками у фельдшера. Тому – житье. Однажды мужики попробовали было и его оставить без дров, а он взял и прогнал наутро всех больных, пришедших на пункт. И дрова в тот же день явились сами собой.

### III

В три часа Астреин на лыжах идет к фельдшеру обедать. Они столуются вместе, а водку покупают поочередно. Иногда для запаха и цвета фельдшер выпускает в бутылку с водкой рюмку ландышного экстракта, и от этого у обоих после обеда долго колотятся и трепыхаются сердца. За обедом присутствует собака фельдшера Друг, большой, гладкий, рыжий, белорудый пес дворовой породы. Он кладет голову то одному, то другому на колени, вздыхает, моргает глупыми голубыми глазами и стучит по ножкам табуреток своим прямым, крепким, как палка, хвостом. Прислуживает им старуха бобылка.

После обеда спят около часу, фельдшер на кровати, Астреин на печке. Просыпаются, когда уже стало темно и когда старуха приносит самовар. За чаем Астреин просматривает ученические тетрадки, а Смирнов prepares лекарства. Он делает их оптом, в запас, пакетов по пятидесяти каждого средства, преимущественно хины, салицилового натра, соды, висмута и доверова порошка. Он близорук и низко нагибается над столом при свете лампы. Его прямые, плоские волосы свисают со лба по обеим щекам, точно бабий платок. С этими волосами, в синих очках и

с редкой, беспорядочной бороденкой, он похож на нигилиста старых времен.

Учитель встает и ходит вкось избы из угла в угол. Он высок, тонок и голову на длинной шее держит наклоненной набок. У него маленькое, съезженное лицо с старообразным малиновым румянцем, косматые брови голубые глаза, волосы над низким лбом торчат стоймя, рот западает внутрь под усами и короткой, выступающей вперед, густой бородой. Лет ему под тридцать.

Вот он останавливается посреди комнаты и говорит мечтательно:

– Как это дико, Сергей Фирсыч, что мы с вами уже три месяца не читаем газет. Бог знает, что произошло за это время в России? Подумайте только: вдруг случилась революция, или объявлена война, или кто-нибудь сделал замечательное открытие, а мы ровно ничего не знаем? Понимаете, такое открытие, которое вдруг перевернет всю жизнь... например, летающий корабль, или вот... например... читать в мыслях у другого, или взрывчатое вещество такой удивительной силы...

– Ха! Фантазии! – говорит Смирнов презрительно. Астреин подходит к столу и длинными, нервными, всегда дрожащими пальцами перебирает разновески.

– Ну что ж, что фантазии, Сергей Фирсыч? Что тут

плохого? Я, знаете, иногда сижу в школе или у вас вечером, и вдруг мне кажется, что вот-вот произойдет что-то совершенно необыкновенное. Вдруг бубенцы под окнами. Собака лает. Кто-то входит в сени, открывает дверь. Лица не видать, потому что воротник у шубы поднят и занесло снегом.

– Жандарм? – насмешливо говорит Смирнов, пригибая лицо еще ниже к столу.

– Нет, погодите, Сергей Фирсыч. Он входит и спрашивает: «Не вы ли местный учитель Клавдий Иванович Астреин?» Я говорю: «Это я-с». И вот – он мне объявляет какую-то счастливую, неожиданную весть, которая меня всего потрясает. Я не могу себе даже вообразить, что он именно скажет, но что-то глубоко приятное и радостное для меня.

– Что вы выиграли двести тысяч на билет от конки? Или что вас назначили китайским богдыханом?..

– Ах, в том-то и дело, что я всегда стараюсь себе представить и не могу. Это не деньги, не должность – ничего подобного. Это будет какое-то чудо, после которого начнется совсем новая, прекрасная жизнь... начнется и для вас, и для меня, и для всех... Понимаете, Сергей Фирсыч, я жду чуда! Неужели этого с вами никогда не бывает?

– За кого вы меня считаете? Конечно – никогда.

– А я жду! И мне кажется, вы неправду говорите.

Вы тоже ждете. Это ожидание чуда – точно в крови у всего русского народа. Мы родились с ним на свет божий. Иначе невозможно жить, Сергей Фирсыч, страшно жить! Поглядите вы на мужиков. Их может разбудить, расшевелить и увлечь только чудо. Подите вы к мужику с математикой, с машиной, с политической экономией, с медициной... Вы думаете, он не поймет вас? Он поймет, потому что он все способен понять, что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но он не поверит от вас ничему, что просто и понятно. Он убивал докторов в оспенные и холерные эпидемии, устраивал картофельные бунты, бил кольями землемеров. Изобретите завтра самое верное, ясное, как палец, но только не чудесное средство для поднятия его благосостояния – и он сожжет вас послезавтра. Но шепните ему, только шепните на ухо одно словечко: «золотая грамота!», или: «антихрист!», или: «объявился!» – все равно, кто объявился, лишь бы это было нелепо и таинственно, – и он тотчас же выдергивает стяг из прясел и готов идти на самую верную смерть. Вы его увлечете в любую, самую глупую, самую смешную, самую отвратительную и кровавую секту, и он пойдет за вами. Это чудо! Пусть нынче его же сосед Иван Евграфов вдруг откашляется и начнет говорить нараспев и в нос, зажмуря глаза: «И было мне, братие, сонное видение, что вопло-

тиса во мне древний змий Илья Пророк», – и мужик сегодня же поклонится Ивану Евграфову, как святителю или как обуянному демоном. Он восторженно поверит любому самозванцу, юродивому, предсказателю, лишь бы слова их были вдохновенны, туманны и чудесны. Вспомните русских самозванцев, ревизоров, явленные иконы, ереси, бунты – вы везде увидите в основе чудо. Стремление к чуду, жажда чуда – проходит через всю русскую историю!.. Мужик верит глупому чуду не потому, что он темен и неразвит, а потому, что это дух его истории, непреложный исторический закон...

Смирнов вдруг теряет терпение и начинает кричать грубо:

– Черт бы побрал ваши исторические законы. Вы просто ерунду порете, милый мой, а никакая не история. У русского народа нет истории.

– То есть как это нет?

– А вот так и нет! История есть у царей, патриархов, у дворян... даже у мещан, если хотите знать. История что подразумевает? Постоянное развитие или падение, смену явлений. А наш народ, каким был во время Владимира Красного Солнышка, таким и остался по сие время. Та же вера, тот же язык, та же утварь, одежда, сбруя, телега, те же знания и культура. Какая тут к черту история!

– Позвольте, Сергей Фирсыч, – мягко возражает учитель, – вы не о том...

– О том о самом, батенька. Да если хотите знать, и никакого русского народа нет. И России никакой нет!.. Есть только несколько миллионов квадратных верст пространства и несколько сотен совершенно разных национальностей, – есть несколько тысяч языков и множество религий. И ничего общего, если хотите знать. Вот я сейчас закрываю глаза и говорю себе: Рос-си-я. И мне, если хотите знать, представляется все это ужасное, необозримое пространство, все сплошь заваленное снегом, молчаливое, а из снега лишь кое-где торчат соломенные крыши. И кругом ни огня, ни звука, ни признака жизни! И вдруг, ни с того ни с сего, неизвестно почему – город. Каменные дома, электричество, телефоны, театры, и там какие-то господа во фраках – какие-то прыщи! – говорят: «Позвольте-с, мы чудесно знаем историю русского народа и лучше всех понимаем, что этому народу надобно. Вот мы ему сейчас пропишем рецепт, и он у нас сейчас...» Народ живет в грязи и невежестве, надо ему, значит, выписать персидского порошку, и каждому чтобы на руки азбуку-копейку. О-о! Кто только не знает этот добрый, старый, верный русский народ. Урядник всыпал мужику туда, откуда ноги растут, выпил рюмку водки, крякнул и хвастается: «Я свой на-

родишко знаю во как!» Становой говорит гордо: «Мой народ меня знает, но и я знаю ой народ!» Губернатор говорит и трясет головой: «Я и народ – мы понимаем друг друга». А тут же рядом торчит этакий интеллигент стрюцкий, вроде вас, Клавдий Иванович, и тоже чирикает: «Кто? Народ? Это мы сейчас, моментально... Вот тут книжка, и в книжке все это объяснено: и всякие исторические законы, и душа великого русского народа, и все такое прочее». И никто ничего не понимает: ни вы, ни я, ни поп, ни дьякон, ни помещик, ни урядник, ни черт, ни дьявол, ни сам мужик. Душа народа! Душа этого народа так же темна для нас, как душа коровы, если вы хотите знать!

– Виноват, Сергей Фирсыч, позвольте...

– Нет, уж вы мне позвольте. Будем говорить поочередно: сначала я, а потом вы, или, наоборот, сначала вы, а потом я. Вместе говорить неудобно. Я только хотел сказать...

– Нет, я хочу только...

И вот между ними закипает тяжелый, бесконечный, оскорбительный, скучный русский спор. Какой-нибудь отросток мысли, придирка к слову, к сравнению, случайно и вздорно увлекают их внимание в сторону, и, дойдя до тупика, они уже не помнят, как вошли в него. Промежуточные этапы исчезли бесследно; надо схватиться поскорее за первую мысль противника, какая

отыщется в памяти, чтобы продлить спер и оставить за собою последнее слово.

Фельдшер уже начинает говорить грубости. У него вырываются слова вроде: ерунда, глупость, чушь, чепуха. В разговоре он откидывает назад голову, отчего волосы разлетаются в стороны, и то и дело тычет резко и прямо перед собою вытянутой рукой. Учитель же говорит жалобно, дрожащим обиженным голосом, и ребром ладони, робко выставленной из-под мышки, точно рубит воздух на одном месте.

– Ну да ладно! – говорит, наконец, с неудовольствием Смирнов. – Начнешь с вами, так и сам не рад. Давай-ка лучше в козла... Угощайте: кому сдавать? Вам.

Они играют с полчаса в карты, оба серьезны. Изредка произносят вполголоса: «крали, бордадым, миру да под тебя, замирил, фоска, захаживай, крести, вини, буби...» Разбухшие темные карты падают на стол, как блины.

Потом они расходятся. Иногда фельдшер немного провожает Астреина, который побаивается волков. На крыльце им кидается под ноги Друг. Он изгибается, тычет холодным носом в руки и повизгивает. Деревня тиха и темна, как мертвая. Из снежной пелены едва выглядывают, чернея, треугольнички чердаков. Крыши слабо и зловеще белеют на мутном небе.

У крыльца, вдоль стены, лежит кверху дном лодка,

занесенная снегом. И почти каждый вечер перед прощанием фельдшер говорит:

– Подождите, Клавдий Иванович, вот придет весна, дождемся половодья – тогда мы с вами спустим лодочку в запруде. У мельницы, батенька, вот какие щуки попадаются!

Иногда же он предлагает, дразнясь:

– А хотите, я подвою?

Он уже делает ладони рупором вокруг рта и набирает воздух, чтобы завывать по-волчьи, и знающий эту штуку Друг уже начинает наперед нервно скулить, но Астреин торопливо хватается Смирнова за руки.

– Ну зачем это, Сергей Фирсыч? Зачем? Что вам за удовольствие доставляет пугать меня? Я не виноват, что у меня нервы.

– А вы не спорьте! – говорит фельдшер смеясь.

## IV

Так проходят три месяца, и ничто не изменяется в их жизни. Они живут вдвоем, точно на необитаемом острове, затеряншемся среди снежного океана. Иногда учителю начинает казаться, что о-н, с тех пор как помнит себя, никуда не выезжал из Курши, что зима никогда не прекращалась и никогда не прекратится и что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, тепло, свет, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки. И тогда лицо фельдшера представляется ему таким донельзя знакомым и неприятным, точно оно перестает быть чужим человеческим лицом, а становится чем-то вроде привычного пятна на обоях, примелькавшейся фотографической карточки с выколочеными глазами или давнишней царапины на столе, по которым скользишь взором, уже не замечая их, но все-таки бессознательно раздражаясь.

К рождеству мужики проторили в сугробах узкие дорожки. Стало возможно ездить гусем. По давно заведенному обычаю, все окрестные священники и дьячки, вместе с попадьями, дьяконицами и дочерями, съезжались на встречу Нового года в село Шилово, к отцу Василию, который к тому же на другой день, 1

января, бывал именинником. Приезжали также местные учителя, псаломщики и различные молодые люди духовного происхождения, ищущие невест.

Шилово находилось в двенадцати верстах от Курши. Фельдшер и учитель выехали засветло. Астреин ни разу еще не бывал у отца Василия и немного колебался, ехать ему или не ехать, но фельдшер успокоил его:

– Да уж я вам говорю, будьте покойны. Раз вы приедете со мной – увидите, как вам будут все рады. Там всем рады. Попадья гостеприимная. Такая будет встреча!

С мороза, с одеревеневшими губами и распухшими пальцами, вошли они из сеней в маленькую гостиную. Было светло и жарко. Вдоль стен сидели девицы в разноцветных платьях, вертя в руках носовые платки. Молодые люди с папиросками ходили тут же взад и вперед, не обращая никакого внимания на барышень, и казались погруженными в размышления. Все они, как на подбор, были долговязы, белобрысы и острижены ежиком, все в длинных черных сюртуках, пахнущих нафталином и одеколоном «Гелиотроп», почти все носили дымчатые пенсне на безусых лицах, но так как глядеть сквозь стекла им все-таки было затруднительно, то они держали головы откинутыми назад с надменным, сухим и строгим видом. У каждого

левая рука была заложена за спину, а правая с растопыренными пальцами засунута за борт сюртука.

Фельдшер двинулся первым, а учитель шел следом за ним, вдоль ряда сидевших барышень; фельдшер кланялся, шаркал ногой, стучал каблуком о каблук, встряхивал волосами и говорил, выворачивая левую ладонь по направлению учителя:

– Позвольте вам рекомендовать... А учитель произносил:

– Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Если же встречалось новое, незнакомое лицо, фельдшер и сам представлялся.

– Местный фельдшер Смирнов. Сын священника. А вот позвольте вам рекомендовать...

Покончив с барышнями, они представлялись таким же порядком молодым людям в сюртуках. Молодые люди, знакомясь, называли себя сдержанно и веско:

– Преображенский. Окончивший.

– Фолиантов. Окончивший.

– Меморский. Окончивший.

– Попов. Окончивший.

И тотчас же отходили в сторону, чтобы продолжать свою глубокомысленную прогулку.

Звание же «окончивший» было в некотором смысле ученой степенью и означало то, что молодой человек кончил в этом году курс семинарии, а теперь

подыскивает себе невесту и священнослужительскую вакансию.

В другой комнате попы играли на трех столах в преферанс и на одном в стуколку. Придерживая одной рукой рукав рясы, они тянулись волосатыми руками за прикупкой, а карты свои рассматривали под столом, закрывая их сбоку полой рясы.

Время от времени раздавались солидные возгласы:

– Стучу.

– Четвертая.

– Моя.

– Семь первых.

– Моя.

– Кушайте на здоровье. Пасс.

– Позвольте.

– Вот так купил отец Афанасий. Вот купи-ил.

– Говорят, вы водку пили, отец Афанасий?

– Отец Евлампий, вы уже того... вы у меня в картах не ночуйте, пожалуйста.

– Хе-хе-хе! Меня еще дедушка учил. Свои карты всегда успеешь поглядеть – ты погляди у соседа.

– Своя. Что светит?

– Пики. Пикендрясы.

– Мне, пожалуйста, три.

– Куплю.

– Темная!

– Откройтесь!

За спинами у некоторых из игроков сидели их пожилые матушки. Они волновались, учили, советовали, упрекали, шипели на мужей и, заглядывая в карты налево и направо, выдавали с милой игривостью чужие тайны. Ссоры еще не было.

В третьей комнате чинно беседовали, поглаживая бороды, два почтенных священника, а сама шиловская попадья, старая, высокая, полная, еще красивая женщина, с властным большим лицом и черными круглыми бровями – настоящая король-баба! – хлопотала около стола, приготавливая закуски.

– Здравствуйте, молодые люди, – приветствовала она вошедших. – С холоду? Да, да, послал бог нынче морозы. Не хотите ли настойки, согреться? Вас-то я знаю, господин фершал, а вот молодого человека, кажется, в первый раз вижу.

– Позвольте вам рекомендовать... – вывернул ладонь Смирнов.

– Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Потом начались в гостиной танцы под гармонию, на которой прекрасно играл шиловский псаломщик. Окончившие танцевали с полным пренебрежением к своим дамам, глядя им поверх головы или даже совсем не глядя в их сторону, точно они были сами по

себе, а дамы сами по себе, и сохраняя на своих лицах и в осанке выражение суровой озабоченности и холодного достоинства. Может быть, это просто была известная светская манера, которую какой-нибудь сын соборного протопопа занес к ним в семинарию, и она стала общей благодаря подражательности? Дамы же старались изображать полнейшую безучастность к тому, что с ними делали кавалеры, и танцевали – некоторые, впрочем, с легким оттенком обиженности – как деревянные.

Зато невысокий плотный фельдшер летал по гостиной самым победоносным и развязным образом, и его длинные волосы тряслись и прыгали вместе с его движениями. Он более всего увивался за дочерью отца Василия, хорошенькой вдовой-попадьей, Александрой Васильевной. Надо было видеть, как он лихо танцевал с ней модные танцы, па-д'эспань, па-де-патинер, краковяк и лезгинку, как, оставив свою даму на одном конце комнаты, он ловко скакал вокруг самого себя, держа руку над головой и живописно изогнувшись, как уже на другом конце, отделенный от дамы другими парами, он выделывал, щелкая каблуками, соло, как потом он стремительно мчался, кружась и толкая других танцоров, к покинутой даме, как он встряхивал плечами и округленными локтями в такт музыке и как, геройски полуобернувшись направо к

Александре Васильевне, он наступал на чужие каблуки и платья.

Он же дирижировал кадрилию на чистом французском языке: гра-ро, болянсе, кавале, рон-да-да, шерше во дам, агош налево, агош направо, шен-да-да! «Мерррси во да-а-ам!» Он даже искренно рассмешил всех, когда вдруг, в середине шестой фигуры, командовал: «Аль-Фонс Ралле, Луи Буис, Генрих Блок!» – и вдруг, точно спохватившись, весело воскликнул: «Пардон, это не из той оперы». Положительно, он был львом бала, и Александра Васильевна отчаянно кокетничала с ним, то есть капризничала, надувала губки, хлопала его платком по руке, делала вид, что ей ужасно противно его ухаживание, и, вся розовая, звонко хохотала, откидываясь назад и блестя свежими темными глазками. Фельдшер ураганом носился по комнатам за водой для Александры Васильевны, со всех ног кидался подымать уроненный ею платок и выхватывал для нее стулья у других, более застенчивых кавалеров.

Астреин не умел ничего танцевать, кроме польки, да и ту танцевал, вытянувшись как можно прямее, на цыпочках, маленькими шажками, благообразно, плавно равнодушно, сохраняя в полной неподвижности свою длинную, склоненную набок шею и покатые плечи; при этом он старался не выходить на середину и

скромно вертелся в углу. Он облюбовал себе тихонькую даму, дочь козлинского дьякона, маленькую, толстенную Олимпиаду Евгеньевну, и танцевал только с ней. Она была бедно одета в старенькое, даже короткое голубое шерстяное платье, выцветшее и обзеленевшее под мышками и вот-вот готовое лопнуть или расстегнуться спереди под напором ее крепких, круглых грудей. Но она была так свежа, что, казалось, от нее пахнет арбузом или парным молоком. У нее было круглое лицо, голубые глаза и неровный мраморный румянец. Когда они кружились с Астреным, ее толстая коса, с голубым бантиком на конце, иногда ударяла учителя по плечу. Она часто краснела и поминутно так наклонялась вперед и поворачивала голову, точно хотела убежать. Астреин все только откашливался. Он не слышал своего голоса из-за звуков гармонии и в десятый раз говорил девушке, что она, наверно, страшно скучает у себя в деревне.

В промежутках между танцами кавалеры выходил на улицу на мороз, курили и охлаждались, обмахиваясь платками. Пар валил от них, как от почтовых лошадей.

После небольшого неизбежного карточного скандала, вследствие которого один из батюшек совсем было собрался уезжать, говоря, что нога его больше не будет под этой кровлей, и даже покушался отыскивать

в сенях свою шубу и шапку, в чем, однако, ему помешали, шиловская попадья позвала ужинать. Мужчины сели на одном конце стола, дамы – на другом. Фельдшер поместился рядом с Астреиным.

– Видел, брат, видел, – сказал Смирнов, покровительственно хлопая учителя по спине. – Видел, видел... Настоящий ухажер. Вполне можно дать bravo.

– Тсс... Бросьте... Сергей Фирсыч.

Ужин вышел шумный и веселый. Даже окончившие разошлись, говорили поздравительные речи с приведением текстов и, сняв свои дымчатые стекла, оказались теплыми ребятами с простоватыми, добродушными физиономиями и не дураками выпить. Новый год встречали по-старинному, с воззванием: «Благослови, господи, венец лета благости твоя на 19 \*\* год». Хотели гадать, но отец Василий воспрепятствовал этому.

Немножко пьяный и немножко влюбленный, Астреин, по примеру фельдшера, скатал два шарика из хлеба, поймал глазами взгляд голубой девушки и, нагибаясь над столом, крикнул ей среди общего шума:

– Что вы желаете этим шарикам?

Она же, вся пунцовая, благодаря трем рюмкам наливки, перекинула назад движением головы свою толстую светлую косу и крикнула, прыскавая от смеха и тоже наклоняясь к столу:

– Мышь за пазуху!

В три часа учитель и фельдшер, выпившие на «ты», поцеловавшиеся и, по обычаю, обругавшие друг друга свиньей и скотиной, ехали домой. Фельдшер был совсем пьян. Он клялся Астреину в дружбе, целовал его, холодя его щеку обмерзлыми колючими усами, и все упрашивал его не губить Липочку и не срывать цветка невинности.

– Я т-тебя зна-аю. Ты специалист! – говорил он многозначительно.

Не доезжая Курши, он заснул и даже тогда не проснулся, когда собака Друг, вскочив в сани, облизала ему все лицо. Учителю пришлось вместе с мужем и старухой бобылкою втаскивать его в комнату.

## V

Этот вечер был, как мгновенный свет в темноте, после которого долго еще мреют в глазах яркие плывущие круги. На целую половину января хватило у фельдшера и учителя вечерних разговоров о новогодье у отца Василия.

Своих шиловских дам они сначала называли заочно по именам-отчествам, потом – твоя Липочка, моя Сашенька и, наконец, просто твоя и моя. Было особенно щекотливо-приятно каждому из них, когда не он, а другой вспоминал за него разные мелочи – и те, которые были на самом деле, и созданные впоследствии воображением.

– Ей-богу, это все заметили, – уверял Астреин. – Когда ты танцевал с другой, она от тебя глаз не отводила.

– Ну вот! Брось... Глупости, – махал фельдшер рукой и не мог удержать на толстых губах самодовольной улыбки.

– Ей-богу! Даже отец Василий сказал: «Посмотрите, эскулап-то наш... каково? А?» Я, брат, даже удивился на тебя, так ты и сыплешь, так и сыплешь разговором. А она так и помирает со смеху. И потом я видел, брат, как ты ей шептал на ухо, когда вы шли от ужина. Я

видел!

– Оставь, пожалуйста. Ничего подобного, – сладко скромничал фельдшер. – А ведь действительно шикарная женщина эта Сашенька, а?

– Красавица! Что и говорить. Царица бала!

– Н-да, но и твоя в своем роде... Ведь это, конечно, дело вкуса, не правда ли? Вкусов ведь нет одинаковых?.. Моя – она больше бросается в глаза, этакая светская, эффектная женщина, ну, а у твоей красота чисто русская... не кричащая, а, знаешь, тихая такая. И какие роскошные волосы! Коса в мою руку толщиной. В голубеньком платье... одна прелесть. Такой, понимаешь ли... в глуши расцветший василек. Как ты ей с шариком-то? Злодей Злодеич!..

– А она вдруг отвечает: мышь за пазуху!..

– Да. И вся вспыхнула. Ты думаешь, это так себе, на ветер сказано? Никогда. Я уж, брат, женщин знаю достоверно, ничего не скажут без цели. Липочка этим дала тебе намек, если ты хочешь знать.

Учитель блаженно улыбался.

– Перестань, Сергей Фирсыч... Какой там намек...

– Очень простой. Хочу быть у вашего сердца – вот какой намек. Честное слово, она премилая. Свежа, как роза. И какой цвет лица!

– Чудный, чудный... У твоей Сашеньки тоже ведь цвет лица...

Но прошли две недели, и как-то само собой сделалось, что эти пряные разговоры стали реже и короче, там и совсем прекратились. Зима, подобно смерти, все сглаживает и уравнивает. К концу января оба – и фельдшер и учитель – испытывали чувство стыда и отвращения, если один из них случайно заговаривал о Шилове. Прежняя добродушная услужливость в воспоминаниях и маленькая невинная сладкая ложь теперь казались им издали невыносимо противными.

А бесконечная, упорная, неодолимая зима все длилась и длилась. Держались жестокие морозы, сверкали ледяные капли на голых деревьях, носились по полям крутящиеся снежные вьюны, по ночам громко ухали, оседая, сугробы, красные кровавые зори подолгу рдели на небе, и тогда дым из труб выходил кверху к зеленому небу прямыми страшными столбами; падал снег крупными, тихими, безнадежными хлопьями, падал целые дни и целые ночи, и ветви сосен гнулись от тяжести белых шапок.

Теперь даже и фельдшеру казалось временами, что зиме не будет и конца, и эта мысль оковывала ужасом его трезвый, чуждый всякой мечтательности, поповский ум. Он становился все раздражительнее и часто говорил грубости земскому доктору, когда тот наезжал на фельдшерский пункт.

– У меня не тысяча рук, а две, – бурчал он глухим

басом, трясая волосами и выбрасывая вперед руку с растопыренными пальцами. – А если вам моя физиономия не нравится, так так и заявите в управе. Я не илот вам дался.

Часто, оставаясь один, он быстро ходил по комнате и воображал себе свою бешеную ссору с доктором. Иногда он давал ему пощечину, иногда стрелял в него. При этом он бледнел от волнения, и губы у него белели, сохли, холодели и дергались.

Перевалило за февраль. Дни стали длиннее, но зима держалась еще крепче.

Фельдшер и учитель тяготились друг другом. Все было изучено друг в друге и все надоело до тошноты: жесты, тон голоса, привычные словечки. Маленькие стеснительные недостатки возбуждали дрожь ненависти, той острой, мелочной, безумной ненависти, которую люди чувствуют друг к другу во время продолжительного и невольного заключения вдвоем и которая так часто бывает в браке. Разговоры всегда оканчивались взаимной обидой.

По старой привычке, они иногда спорили, – спорили подолгу, стараясь оскорбить друг друга: фельдшер – грубостями, учитель – тонкими, смиренными, незаметными уколами самолюбия, и, сами сознавая противную сторону этих споров, они все-таки въедались в них и не могли их прекратить.

Волки, которые теперь от голода совсем обнаглели и забегали в деревню даже днем, вероятно, с любопытством и со злобой следили издали в длинные лютые вечера, как в освещенном окне на краю деревни рисовалась нагнувшаяся над столом человеческая фигура и как другая фигура, тонкая и длинная, быстро шныряла по комнате, то пропадая в темных углах, то показываясь в освещенном пространстве. И они, должно быть, слышали, как высокий, вздрагивающий голос учителя нервно частил: «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды...», а фельдшер перебивал его глухим, недовольным тягучим басом: «бу-у, бу-у, бу-у...»

Однажды, перебирая одной рукой аптекарские разновески на столе, а другой, по обыкновению, разрезая воздух на мелкие кусочки, Астреин стоял возле фельдшера и говорил:

– Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо – приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу. Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные – я радуюсь его славе, и я совсем не завидую ему. Но ведь незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой – крошечные люди, ме-

люзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

– Оставьте! Читали! – крикнул сердито фельдшер и отмахнулся рукой. – Я не хочу варить щей, которых мне никогда не придется хлебать. К черту будущее человечество! Пусть оно подыхает от сифилиса и вырождения!

Астреин вдруг побледнел и сказал, заикаясь:

– Но ведь это ужасно, что ты говоришь, Сергей Фирсыч. Ведь жить больше нельзя, если так думать. Значит, что же?.. Значит, остается только идти и повеситься!..

– И вешайся! – закричал фельдшер, трясясь от злости. – Одним дураком на свете меньше будет!..

Астреин молча надел пальто, взял шапку и ушел. Он не появлялся к обеду два дня. Но они не могли уже обойтись друг без друга, не могли жить без этих привычных, мелочных взаимных оскорблений, без этой зудящей, длительной ненависти друг к другу. К концу второго дня фельдшер пришел в школу мириться, и все пошло по-старому.

Такие ссоры повторялись часто. Надевая дрожащими руками пальто, торопясь и не попадая в рукава, ища в то же время ногами калоши, а глазами – шапку, Астреин говорил плачущим голосом.

– Я уйду, Сергей Фирсыч, я уйду, бог с вами. Но кля-

нуса вам, что это в последний раз. И прошу вас не приходить больше ко мне! Да, прошу об этом вас покорнейше.

– И черт с вами! И не приду! Очень вы нужны мне! С богом по гладенькой дорожке. Дверь сами найдете.

Но они все-таки мирились, ибо уже до болезни вжились друг в друга.

Скука длинных ночей; которую нельзя было одолеть даже сном, толкала их на ужасные вещи.

Однажды среди ночи фельдшер проник в кухню к старухе бобылке, и, несмотря на ее ужас и на ее причитания, несмотря на то, что она крестилась от испуга, он овладел ею. Ей было шестьдесят пять лет. И это стало повторяться настолько нередко, что даже старуха привыкла и молча подчинялась.

Уйдя от нее, Смирнов каждый раз бегал по комнате, скрежетал зубами, стонал и хватал себя за волосы от омерзения.

Учителя же одолевали ночные сладострастные грезы во время бессонниц. Он худел, глаза его увеличивались и стекленели, и под ними углублялись черные синяки. И его нервные тонкие пальцы дрожали еще сильнее.

Как-то фельдшер предложил Астреину попробовать вдыхание эфира.

– Это очень приятно, – говорил он, – только надо

преодолеть усилием воли тот момент, когда тебе захочется сбросить повязку. Хочешь, я помогу тебе?

Он уложил учителя на кровать, облепил ему рот и нос, как маской, гигроскопической ватой и стал напивать ее эфиром. Сладкий, приторный запах сразу наполнил горло и легкие учителя. Ему представилось, что он сию же минуту задохнется, если не скинет со своего лица мокрой ваты, и он уже ухватился за нее руками, но фельдшер только еще крепче зажал ему рот и нос и быстро вылил в маску остатки эфира.

## VI

Была одна страшная секунда, когда Астреин почувствовал, что он умирает от удушья, но всего только одна секунда, не более. Тотчас же ему стало удивительно покойно и просторно. Что-то радостно задрожало у него внутри, какая-то светящаяся и поющая точка, и от нее, точно круги от камня, брошенного в воду, побежали во все стороны веселые трепещущие струйки. Лежа на спине, он ясно увидел, как прямая линия, образованная стеною и потолком, вдруг расцвятилась радугой, изломалась и вся расплылась в мелких, как Млечный Путь, звездочках. Потом задрожало все: воздух, стены, свет, звуки – весь мир. И ему казалось, что каждый атом его существа превращается в вибрирующее движение, слитое с общим неуловимо-быстрым, светлым движением. Все его тело растворялось и таяло; оно сделалось невесомым, и это ощущение легкости и свободы было невыразимо блаженно. И вдруг его сознание полетело по бесконечной кривой – куда-то вниз, в темную пропасть, и угасло.

Он очнулся с головной болью и с противным вкусом эфира во рту. Этот вкус преследовал его целую ночь и весь следующий день.

Фельдшер попросил Астреина оказать ему такую

же услугу – подержать над лицом ватную маску, и учитель подчинился. Они проделали этот опыт несколько раз, но не успели сделаться эфироманами, потому что весь запас волшебной жидкости вышел, а нового им не присылали.

А зима все лежала и лежала на полях мертвым снегом, выла в трубах, носилась по улицам, гудела в лесу. Куршинские мужики кормили скот соломой с крыш и продавали лошадей на шкуры заезжим кошатникам.

Астреин совсем опустился. Он не только целый день ходил в пальто и калошах, но и спал в них, не раздеваясь. С утра до вечера он пил водку, иногда пил ее даже проснувшись среди ночи, доставая бутылку, из-под кровати. Воспаленный мозг его одиноко безумствовал в сладострастных оргиях.

В школе, в часы занятий, он садился за стол, подпирал голову обеими руками и говорил:

– Пусть каждый из вас, дети, прочитает «Мартышку и очки». Все по очереди. Наизусть. Валяйте.

Ребятишки уже давно приспособились к нему и говорили, что хотели. А он сидел, расширив светлые сумасшедшие глаза и уставив их всегда в одну и ту же точку на географической карте, где-то между Италией и Карпатами.

Фельдшер же во время приемов кричал на мужиков и нарочно, с дикой злобой на них и на себя, делал

им больно при перевязках. Когда он оставался один и думал о докторе, то глаза его наливались кровью от долго затаенного бешенства, ставшего манией.

Казалось, они оба неизбежно подходили к какому-то страшному концу. Но что-то странное и таинственное есть в человеческой природе. Когда физическая боль, отчаяние, экстаз или падение достигают высочайшего напряжения, когда вот-вот они готовы перейти через предельную черту, возможную для человека, тогда судьба на минутку дает человеку роздых и точно ослабляет ему жестокие тиски. Иногда она даже на мгновение улыбнется ему. Так бывает при тяжелых, смертельных родах у женщин, на войне, во время непосильного труда, при неизлечимых болезнях, иногда при сумасшествии, и, должно быть, бывало во время пыток перед смертью. Потом судьба холодно и беззлобно успокаивает человека навсегда.

## VII

Вдруг случилось чудо, в которое так наивно верил учитель Астреин. Пришла весна!

Сначала, несколько дней подряд, воздух стоял неподвижно и был тепел. Тяжелые сизые облака медленно и низко сгруживались к земле. Тощие горластые петухи орали не переставая по дворам в деревне. Галки с тревожным криком носились по темному небу. Дальние леса густо посинели. Людей клонило днем ко сну.

Потом сразу пошли дожди, подули южные ветры. Ветер и дождь прямо на глазах ели снег, который стал на полях ноздреватым и грязным, а там, где под ним бежала вода, зернистым и жидким. Деревенская улица обнажилась, доверчиво размякла, и коричневые болтливые ручейки побежали по ней во всю ее ширину вдоль уклона.

Весенний беспорядок – шумный, торопливый, сорный – воцарился в лесах, полях и на дорогах – точно дружная, веселая суета перед большим праздником происходила в природе. Как чудесно пахли по ночам земля, ветер и, кажется, даже звезды!

Вскрылась Пра. Фельдшер все хлопотал около лодки. Однажды вечером он сказал Астреину, потирая на-

мозоленные руки:

– Теперь все готово. Завтра приходи пораньше. Пообедаем – и айда. Нам некогда терять времени. Через неделю Пра обмелеет, и тогда придется тащить лодку на плечах. А теперь мы как раз ее пригоним к мельнице.

На другой день после раннего обеда они сволокли легкую, плоскодонную лодку по откосу оврага к реке, спустили ее в воду и поплыли по течению вниз. Так как река бежала необыкновенно быстро, то фельдшер пустил Астреина на гребные весла, а сам сел на корму с рулевым веслом. Смирнов взял с собой на всякий случай шомпольную одностволку и даже зарядил ее. Друг, увязавшийся за лодкой, бежал по берегу и весело лаял.

Сейчас же, сажень через тридцать, был мост между крутыми берегами. Теперь он висел над поднявшейся водой, почти касаясь ее. Оглянувшись назад, учитель спросил с беспокойством:

– Пройдем ли?

– Глупости! Пройдем! – ответил уверенно фельдшер. – Нагнемся и проедем.

Чтобы войти под мост, им пришлось не только лечь ничком на банки, но и защищать руками лица от мостовых бревен. Под мостом было темно, сыро и гулко. Вырвавшись из-под него, лодка точно прибавила

ходу и теперь плыла со скоростью хорошей почтовой лошади.

По небу опроретью неслись круглые, пухлые облака. Совсем неожиданно пошел дождь. Фельдшер обвязал замок у своего ружья носовым платком, чтобы пистоны не отсырели. Но дождь сейчас же и перестал, и снова засмеялось весеннее непостоянное солнце. Берега понижались постепенно, а река все расширялась. Вода бурлила, разрезаемая носом лодки; она была по-весеннему грязно-коричневая и на изломах струек поблескивала голубым отражением неба. Все чаще и чаще попадались льдины – круглые, покрытые сверху грязным снегом. Они кружились, подгоняемые течением, и терлись, шурша о борта лодки, которая их обгоняла.

Навстречу лодке рос приближающийся лес. Издали было слышно, как вода клокотала в нем вокруг затопленных деревьев. Лодка, не умеряя скорости, вошла в него, и вдруг берега реки разбежались и пропали. Куда бы ни глядел глаз, всюду – налево, направо, впереди, позади – расстилалась бегущая, говорливая, плоская вода, из которой кое-где торчали верхушки кустов. Но главное течение все-таки легко можно было определить по быстроте струй и по широкому расстоянию между деревьями. Фельдшер правил молодцом, зато несколько раз искупавшийся в лужах

Друг остался на берегу. Он попробовал было плыть, но испугался и вернулся назад. Он долго еще отряхивался, трепеща шеей и ушами, и скулил, глядя вслед лодке. Начиало темнеть.

– Господи! Что же может быть на свете лучше русской весны! – говорил Астреин. – Знаешь, Фирсыч, она точно любимая женщина. Отчаялся ее дождаться, проклинаешь ее, готовишь ей гневные слова, – а вот она пришла, и какая радость!..

– Ну ладно, ладно, – бурчал с ласковой грубостью фельдшер. – Держись крепко, старик, не кисни.

Река так же внезапно, как расширилась, так и сузилась. Впереди виднелся второй мост, как будто перехватывающий реку узким горлом; за ним она опять расширялась.

– Послушай, друже, – сказал фельдшер, – я думаю, лучше нам пристать у берега, не доходя моста, а лодку уж мы проведем волоком. Мы здесь не проскочим.

– Э, чепуха, проскочим! Держи прямо! Штир-бомбим-брам-штреньгу! – крикнул задорно Астреин.

– Ну, ну! – сказал фельдшер в знак согласия.

Но они не рассчитали. Вода была слишком высока. Лодка ударилась носом о мостовую настилку, течение тотчас же повернуло ее боком, прижало к мосту, и вдруг Астреин с ужасом увидел, как вся река хлынула в лодку.

Фельдшер успел вовремя ухватиться за настилку и выкарабкаться почти сухим. Но Астреин по горло погрузился в воду. Он достал ногами дно, здесь было вовсе не глубоко, но течение с такой силой тянуло его под мост, что он едва-едва успел уцепиться за столб. Лодка, переполнившись водою, перевернулась вверх дном, легко скользнула в пролет и на той стороне моста сейчас же запуталась в кустах. Фельдшер стоял наверху и хохотал во все горло.

– Это свинство, – мрачно сказал Астреин из воды. – Сам перевернул лодку, когда выскакивал, и сам смеешься. Давай руку.

– Подожди. Притяни сначала лодку. Тебе все равно заодно мокнуть. Иди смело. Здесь мелко.

– Да, хорошо тебе сверху.

Пока фельдшер вытаскивал учителя на мост, пока он обжимал на нем набухшую от воды одежду, стаскивал с него сапоги и выливал из них воду, незаметно настала ночь.

Снег на берегу, казавшийся вечером светло-фиолетовым, сразу побелел и сделался прозрачно-легким и тонким. Деревья почернели и сдвинулись. Теперь ясно было слышно, как вдали ровно и беспрестанно гудела вода на мельничной плотине.

– Все равно надо ехать, – сказал фельдшер, – выберемся на заворот, а там вытащим лодку куда-ни-

будь на берег и пойдём ночевать на мельницу. Назад уж невозможно.

Они опять сели в лодку. Прямо от моста река расширялась воронкой перед запрудой. Левый берег круто загибал влево, а правый уходил прямо вперед, теряясь в темноте.

Неожиданное течение вдруг подхватило лодку и понесло ее с ужасной стремительностью. Через минуту не стало видно ни левого, ни правого берега. Рев воды на мельнице, которому до сих пор мешала преграда из леса, вдруг донесся с жуткой явственностью.

– Куда гребешь? Куда? Черт! Левым загребай, правым табань. Левым, левым, дьявол, черт, сволочь! Да левым же, левым, черт бы тебя побрал. Черт, свинья!..

– Дрянь, сволочь! Сидишь на руле. Чего смотришь? Собака, сволочь! Клистирная трубка!

Астреин выбивался из сил, стараясь направить лодку к левому берегу, но она неслась неведомо куда. И в это время фельдшер и учитель яростно ругали друг друга всеми бранными словами, какие им попадали на язык.

– Стой, стой! Куст! Держи! Куст! – вдруг закричал радостно фельдшер.

Ему удалось схватиться руками за ветки куста, торчавшего из воды. Лодка стала, вся содрогаясь и порываясь вперед. Вода бежала вдоль ее бортов слева и

справа с гневным рокотом. Теперь видим стал правый берег. Снег лежал на нем, белея слабо и плоско, как бумага в темноте. Но фельдшер знал местность. Этот берег представлял собою огромное болото, непроходимое даже летом.

Несколько минут оба молчали. Большие льдины, крутясь, быстро проплывали мимо лодки и казались легкими, как вата. Иногда они сталкивались, терлись друг о друга и шуршали, и вздыхали с коварной осторожностью.

Астреин чувствовал, как у него волосы холодеют и становятся прямыми и твердыми, точно тонкие стеклянные трубки. Рев воды на мельнице стоял в воздухе ровным страшным гулом; и было ясно, что вся тяжелая масса воды в реке бежит неудержимо туда, к этому звуку.

– Надо двигаться! – сказал фельдшер. – Пустика меня на весла.

Они переменились местами, и теперь уже Астреин держался за ветки. Оба старались казаться спокойными.

– Дело в том, что о правом берегу нам нечего и думать. Там мы увязнем и не выберемся до трубы архангельской. Послушай, Клавдий Иванович. – Голос фельдшера вдруг задрожал теплым, глубоким тоном. – Послушай, ты не сердись на меня, что я по-

ташил тебя сегодня в эту дурацкую поездку?

– О, что ты, родной мой. Не думай об этом, ради бога, – ласково ответил учитель.

Он наклонился, чтобы увидеть лицо Смирнова, но увидел только слабое темное очертание его плеч и головы.

– Видишь ли, нам надо, если ты хочешь знать, выбиваться к левому берегу, – опять заговорил фельдшер. – Попробуем пересечь течение? а? Как ты думаешь?

– Давай, – тихо сказал учитель, – судьба так судьба.

– Ничего... Может, и выгребу, а не выгребу – наплевать...

– Конечно, – сказал учитель.

Опять наступило молчание. Вода плескалась и роптала вокруг лодки, кружились и вздыхали со свистом льдины, ревела вдали мельница.

– Пускать? – спросил учитель с тоской.

– Прости меня за все, Клавдий Иванович, – вдруг просто и серьезно, даже точно деловито, сказал фельдшер. – Я был к тебе так несправедлив эту зиму.

– Брось, милый, что уж тут. Я тебя люблю, мало ли что бывает между близкими? Ну, держись. Я пускаю.

Он разжал руки, и лодка, точно обезумев от свободы, понеслась вперед. И тотчас же Астреин увидел свет на мельнице. Он, как красная булавка, торчал

среди черной ночи.

Фельдшер греб, нагнув вниз голову, упиравшись ногами в переднюю скамейку, шумно и коротко выдыхая воздух. Ему казалось, что лодка быстро подается вперед при каждом взмахе весел, но это был обман: ее несло только течением, и сам Смирнов хорошо это знал.

Учитель ничего не говорил, но он видел, как с каждым мгновением увеличивался огонь на мельнице. Можно было уже разобрать переплет окна.

Воздух дрожал от рева воды под шлюзами. Вдруг Астреин увидел впереди лодки длинный белый гребень пены, который приближался, как живой. Он со слабым криком закрыл лицо руками и бросился ничком на дно лодки. Фельдшер понял все и оглянулся назад. Лодка боком вкось летела на шлюзы. Неясно чернела плотина. Белые бугры пены метались впереди.

– Конец! – сказал фельдшер вслух. – Астреин, Астреин! – крикнул он, – держись за борта, держись!

Но его тотчас же сбило со скамейки. Он упал грудью на уключину и судорожно вцепился обеими руками в борт. Огромная тяжелая волна обдала его с ног до головы. Почему-то ему послышался в реве водопада густой, частый звон колокола. Какая-то чудовищная сила оторвала его от лодки, подняла высоко и швырну-

ла в бездну головой вниз. «А Друг-то, пожалуй, один не найдет дорогу домой», – мелькнуло вдруг в голове фельдшера. И потом ничего не стало.

Река долго влекла их избитые, обезображенные тела, крутя в водоворотах и швыряя о камни. Труп фельдшера застрял между ветлами. Учителя потащило дальше.

1907